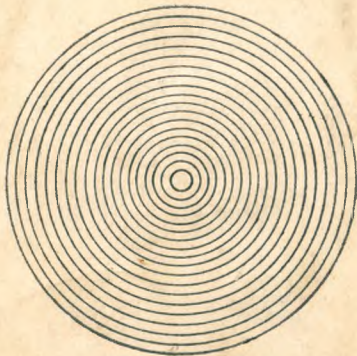


Д.САМОЙЛОВ

ДНИ



Д.САМОЙЛОВ

ДНИ



СОВЕТСКИЙ
ПИСАТЕЛЬ
МОСКВА
1970

Р 2
С 17

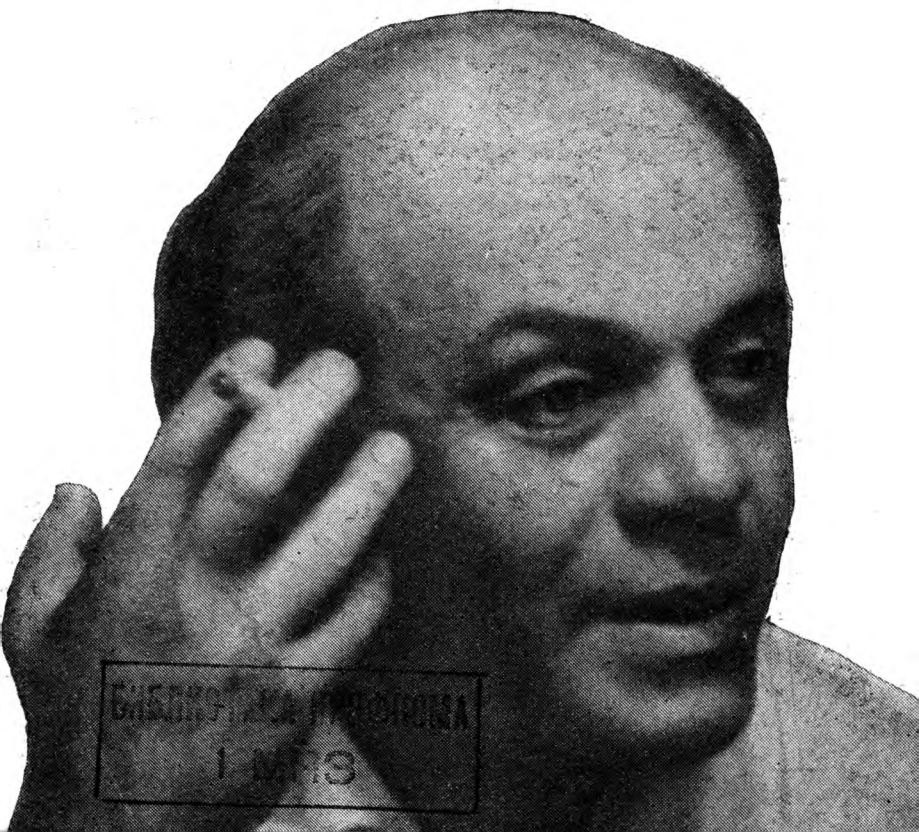
Художник В. Локшин.

7-4-2
150—70

Д. САМОЙЛОВ

ДНИ

СТИХИ





Давай поедem в город,
Где мы с тобой бывали.
Года, как чемоданы,
Оставим на вокзале.

Года пускай хранятся,
А нам храниться поздно.
Нам будет чуть печально,
Но бодро и морозно.

Уже дозрела осень
До синего налива.
Дым, облако и птица
Летят неторопливо.

Ждут снега. Листопады
Недавно отшуршали.
Огромно и просторно
В осеннем полушарье.

И все, что было зыбко,
Растрепано и розно,
Мороз скрепил слюною,
Как ласточкины гнезда.

И вот ноябрь на свете,
Огромный, просветленный.
И кажется, что город
Стоит ненаселенный, —

Так много сверху неба,
Садов и гнезд вороньих,
Что и не замечаешь
Людей, как посторонних.

О, как я поздно понял,
Зачем я существую!
Зачем гоняет сердце
По жилам кровь живую,

И что порой напрасно
Давал страстям улечься!..
И что нельзя беречься,
И что нельзя беречься..

ПЕРЕД СНЕГОМ

И начинает уставать вода.
И это означает близость снега.
Вода устала быть ручьями, быть дождем,
По корню подниматься, падать с неба.
Вода устала петь, устала течь,
Сиять, струиться и переливаться.
Ей хочется утратить речь, залечь
И там, где залегла, там оставаться.

Под низким небом, тяжелей свинца,
Усталая вода сияет тускло.
Она устала быть самой собой.
Но предстоит еще утратить чувства,
Но предстоит еще заледенеть
И уж не петь, а, как броня, звенеть.

Ну, а покуда в мире тишина.
Торчат кустов безлиственные прутья.
Распутица кончается. Распутица
Подмерзли. Но земля еще черна.
Вот-вот повалит первый снег.



Вс. И.

Как объяснить тебе, что это, может статься,
Уж не любовь, а смерть стучится мне в окно.
И предстоит навеки рассчитаться
Со всем, что я любил, и с жизнью заодно.

Но если я умру, то с ощущеньем воли.
И все крупницы моего труда
Вдруг соберутся. Так в магнитом поле
Располагается железная руда.

И по расположенью желтой пыли —
Иначе как себя изображу? —
Ты устремленность всех моих усилий
Вдруг прочитаешь, как по чертежу.



Вода моя! Где тайники твои,
Где ледники, где глубина подвала?
Струи ручья всю ночь, как соловьи,
Рокочут в темной чаше краснотала.

Ах, утоли меня, вода ручья,
Кинь в губы мне семь звезд, семь терпких ягод,
Кинь, в краснотале черном рокоча,
Семь звезд, что предо мной созвездьем лягут.

Я притаюсь, притихну, как стрелок,
Боящийся спугнуть семью оленей.
Ручей лизнет мне руку, как телок,
И притулится у моих коленей.

ПАМЯТЬ

Е. Л.

Я зарастаю памятью,
Как лесом зарастает пустошь.
И птицы-память по утрам поют,
И ветер-память по ночам гудит,
Деревья-память целый день лепечут.

И там, в пернатой памяти моей,
Все сказки начинаются с «однажды».
И в этом однократность бытия
И однократность утоленья жажды.

Но в памяти такая скрыта мощь,
Что возвращает образы и множит...
Шумит, не умолкая, память-дождь,
И память-снег летит и пасть не может.

ФЕЙЕРВЕРК

Музыкантам, музыкантам
Было весело играть.
И под небом предзакатным
Трубам весело сиять.

Но окрестности темнели,
Угасал латунный сверк.
И, когда сомкнулись ели,
Вдруг ударил фейерверк.

С треском, выстрелом и шипом
Он распался на сто звезд.
Парни в танце с диким шиком
Мяли девушек, как воск.

И опять взлетел над парком
Фейерверк и прынул вниз.
И тогда с тревожным карком
Галки стаями взвились.

И рассыпалися черным
Фейерверком, прынув вверх.
Но хвостом разгоряченным
Вновь распался фейерверк.

Свѣтла начали крутиться,
Поднимаясь к небесам.
И тогда другие птицы
Заметались по кустам.

Ослепленные пичуги
Устремлялись от огней,
Трепыхаясь словно чубы
Перепуганных коней.

И тогда взлетел Огромный,
Словно лопнуло стекло.
И сияющей короной
Всплыло нежное Светло.

Как шатер оно снижалось,
Озаряя небеса.
С тенью тень перемежалась,
Словно спицы колеса.

И последняя шутиха
Где-то канула на дно.
И тогда настало Тихо,
И надвинулось Темно.

Мы стояли, рот разинув,
И глядели долго вверх.
И как битву исполинов
Вспоминали фейерверк.

КРАСОТА

Она как скрипка на моем плече.
И я ее, подобно скрипачу,
К себе рукою прижимаю.
И волосы струятся по плечу,
Как музыка немая.

Она как скрипка на моем плече.
Что знает скрипка о высоком пенье?
Что я о ней? Что пламя о свече?
И сам господь — что знает о творенье?

Ведь высший дар себя не узнает.
А красота превыше дарований —
Она себя являет без стараний
И одарять собой не устает.

Она как скрипка на моем плече.
И очень сложен смысл ее гармоний.
Но внятен всем. И каждого томит.
И для нее никто не посторонний.

И, отрешась от распрей и забот,
Мы слушаем в минуту просветленья
То долгое и медленное пенье
И узнаем в нем высшее значенье,
Которое себя не узнает.



Расставанье,
Век спустя после прощанья,
Ты звучишь во мне, как длинное стenanье,
Как стenanье ветра за стеной.
Расставанье,
Мне уже не нужное,
Стонешь ты, как женщина недужная,
Где-то за туманной пеленой.

Пробуждаюсь.
Вместе с пробуждением
Оборвался звук. Но странным пеньем
Я разбужен был. Так где оно?
Я однажды в детстве слышал это:
Женский вопль далеко до рассвета,
Замиравший медленно вдали.
Мне казалось — это похищенье
Женщины. Куда ее влекли?

Так со мной бывает спозаранок,
Когда что-то нарушает сон.
Слышу похищенье сабинянок —
Длинный, удаляющийся стон.



И всех, кого любил,
Я разлюбить уже не в силах!
А легкая любовь
Вдруг тяжелеет
И опускается на дно.
И там, на дне души, загустевает,
Как в погребе закрытое вино.

Не смей, не смей из глуби доставать
Все то, что там скопилось и окрепло!
Пускай хранится глухо, немо, слепо,
Пускай! А если вырвется из склепа,
Я предпочел бы не существовать,
Не быть...

НАЗВАНЬЯ ЗИМ

У зим бывают имена.
Одна из них звалась Наталья.
И было в ней мерцанье, тайна,
И холод, и голубизна.

Еленю звалась зима,
И Марфою, и Катериной.
И я порою зимней, длинной
Влюблялся и сходил с ума.

И были дни, и падал снег,
Как теплый пух зимы туманной...
А эту зиму звали Анной,
Она была прекрасней всех.

★ ★ ★

Получил письмо издалека,
Гордое, безумное и женское.
Но пока оно свершало шествие,
Между нами пролегли века.

Выросли деревья, смолкли речи,
Отгремели времена.
Но опять прошу я издалече:
Анна! Защити меня!

Реки утекли, умчались птицы,
Заросли дороги. Свет погас.
Но тебе порой мой голос снится:
Анна! Защити обоих нас!

РЯБИНА

Так бы длинно думать,
Как гуси летят.
Так бы длинно верить,
Как листья шелестят.
Так бы длинно любить,
Как реки текут...
Руки так заломить,
Как рябиновый куст.



Была туманная луна,
И были нежные березы...
О март-апрель, какие слезы!
Во сне какие имена!

Туман весны, туман страстей,
Рассудка тайные угрозы...
О март-апрель, какие слезы —
Спросонья, словно у детей!..

Как корочку, хрустящий след
Жуют рассветные морозы...
О март-апрель, какие слезы —
Причины и названья нет!

Вдали, за гранью голубой,
Гудят в тумане тепловозы...
О март-апрель, какие слезы!
О чем ты плачешь? Что с тобой?

АПРЕЛЬСКИЙ ЛЕС

Давайте каждый день приумножать богатство
Апрельской тишины в безлиственном лесу.
Не надо торопить. Не надо домогаться,
Чтоб отроческий лес скорей отер слезу.

Ведь нынче та пора, редчайший час сезона,
Когда и время — вспять и будет молодеть,
Когда всего шальней растрепанная крона
И шапку не торопится надеть.

О, этот странный час обратного движенья
Из старости!.. Куда?.. Куда — не все ль равно!
Как будто корешок волшебного женьшеня
Подмешан был вчера в холодное вино.

Апрельский лес спешит из отрочества в детство.
И воды вспять текут по талому ручью.
И птицы вспять летят... Мы из того же теста —
К начальному, назад, спешим небытию...



Стройность чувств. Их свободные речи.
И в мазут Патриарших прудов
Опрокинут мерцающий глетчер,
Звездный брус городских холодов.

В эту ночь окончанья сезона,
Когда лебеди странно вопят,
До сухого и нежного звона
Доведен городской листопад.

И почти одинаково яркие
Фонари, что в аллее горят,
И высокие тополи в парке,
Сохранившие желтый наряд.

На пустынной аллее садовой
Мне сулит этот лиственный звон
Приближение музыки новой
И конец переходных времен.

Пруд лоснится, как черное масло,
И как легкое пахнет вино.
И бессонница наша прекрасна —
Так все молодо, так ледяно!..



Дай выстрадать стихотворенье!
Дай вышагать его! Потом,
Как потрясенное растенье,
Я буду шелестеть листом.

Я только завтра буду мастер,
И только завтра я пойму,
Какое привалило счастье
Глупцу, шуту, бог весть кому, —

Большую повесть поколенья
Шептать, нащупывая звук,
Шептать, дрожа от изумленья
И слезы слизывая с губ.

В ДЕРЕВНЕ

В деревне благодарен дому
И благодарен кровле, благодарен печке,
Особенно когда деревья гнутся долу
И ветер гасит звезды, словно свечки.

Сверчку в деревне благодарен,
И фитилю, и керосину.
Особенно когда пурга ударит
Во всю медвежью голосину.

Соседу благодарен и соседке,
Сторожевой собаке.
Особенно когда луна сквозь ветки
Глядит во мраке.

И благодарен верному уму
И доброму письму в деревне...
Любви благодаренье и всему,
Всему — благодаренье!

ГОЛОСА

Здесь дерево качается: — Прощай! —
Там дом зовет: — Остановись, прохожий! —
Дорога простирается: — Пластай
Меня и по дубленой коже
Моей шагай, топчи меня пятой,
Не верь домам, зовущим поселиться.
Верь дереву и мне.—

А дом: — Постой! —
Дом желтой дверью свищет, как синица.
А дерево опять: — Ступай, ступай,
Не оборачивайся.—

А дорога:
— Топчи пятой, подошвою строгай.
Я пыльная, но я веду до бога! —
Где пыль, там бог.
Где бог, там дух и прах.
А я живу не духом, а соблазном.
А я живу, качаясь в двух мирах,
В борении моем однообразном.
А дерево опять: — Ну, уходи,
Не медли, как любовник надоевший! —
Опять дорога мне: — Не тяготи!

Ступай отсюда, конный или пеший.—
А дом — оконной плачет он слезой.
А дерево опять ко мне с поклоном.
Стою, обвит страстями, как лозой,
Перед дорогой, деревом и домом.



Вдруг обоймут большие шумы леса
И упадет к ногам кусок коры.
И февраля неистовая месса
На полнедели развеет хоры.

Такой зимы давно не выдавалось,
Подобной стужи не было давно,
Так широко и шумно не вздувалось
Деревьев грубошерстное рядно.

Давно и я не жил, забившись в угол,
Темно, как волопас или овчар.
И лишь в смешенье выдохом и гулов
Какое-то движенье различал.

Порой срывало провода с фаянса,
И нам светили печка и свеча.
Мой пес пространства дымного боялся
И в конуре ворочался рыча.

А лес, как бесконечный скорый поезд,
Летел, не удаляясь в темноту.
Я, наконец со скоростью освоюсь,
В него вбегал, как в поезд на ходу.

И мы летели в страшном напряженье,
Почти непостижимые уму.
Но только гулом было то движенье
И устремленьем дерева во тьму.

ВЫЕЗД

Помню — папа еще молодой.
Помню выезд, какие-то сборы.
И извозчик — лихой, завитой.
Конь, пролетка, и кнут, и рессоры.

А в Москве — допотопный трамвай,
Где прицепом старинная конка.
А над Екатерининским — грай.
Все впечаталось в память ребенка.

Помню — мама еще молода,
Улыбается нашим соседям.
И куда-то мы едем. Куда?
Ах, куда-то зачем-то мы едем!

А Москва высока и светла.
Суматоха Охотного ряда.
А потом — купола, купола.
И мы едем, все едем куда-то.

Звонко цокает кованый конь
О булыжник в каком-то проезде.
Куполов угасает огонь,
Зажигаются свечи созвездий.

Папа молод. И мать молода.
Конь горяч. И пролетка крылата.
И мы едем, незнамо куда, —
Все мы едем и едем куда-то.

ДВОР МОЕГО ДЕТСТВА

Еще я помню уличных гимнастов,
Шарманщиков, медведей и цыган
И помню развеселый балаган
Петрушек голосистых и носастых.
У нас был двор квадратный. А над ним
Висело небо — в тучах или звездах.
В сарае у матрасника на козлах
Вились пружины, как железный дым.
Ириски продавали нам с лотка.
И жизнь была приятна и сладка..
И в той Москве, которой нет почти
И от которой лишь осталось чувство,
Про бедность и величие искусства
Я узнавал, наверно, лет с пяти.

Я б вас позвал с собой в мой старый дом...
(Шарманщики, петрушка — что за чудо!)
Но как припомню долгий путь оттуда —
Не надо! Нет!.. Уж лучше не пойдём!..

ПУСТЫРЬ

Подвыпившие оркестранты,
Однообразный цок подков.
А мне казалось — там пространство,
За садом баронессы Корф.

Там были пустыри, бараки,
И под кладбищенской стеной
Храпели пыльные бродяги,
Не уходившие домой.

А кладбище цвело и пело
И было островом травы.
Туда бесчувственное тело
Везли под грузный вздох трубы.

Но дальше уходили трубы
Вдоль белокаменной стены,
И марши не казались грубы,
А вдохновенны и нежны.

Над белым куполом церковным
Вдруг поднималось воронье.
А дальше — в свете безгреховном
Пространство и небытие.

И светом странным и заветным
Меня пронизывал дотла
При звуках музыки посмертной
Осколок битого стекла.

НОЧНОЙ СТОРОЖ

В турбазе, недалеко от Тапы,
Был необычный ночной сторож.
Говорили, что ночью он пишет ноты
И в котельной играет на гобое.
Однажды мы с ним разговорились
О Глюке, о Моцарте и о Гайдне.
Сторож достал небольшой футлярчик
И показал мне гобой.
Гобой лежал, погруженный в бархат,
Разъятый на три неравные части,
Черный, лоснящийся и холеный,
Как вороны в серебряной сбруе.
Сторож соединил трубки,
И черное дерево инструмента
Отозвалось камергерскому блеску
Серебряных клапанов и регистров.
Я попросил сыграть. И сторож
Выдул с легкостью стеклодува
Несколько негромких пассажей...
Потом он встал в концертную позу
И заиграл легко, как маэстро,
Начало моцартовского квартета.
Но вдруг гобой задохнулся и пискнул.
И сторож небрежно сказал: «Довольно!»

Он не мог играть на гобое,
Потому что нутро у него отбито
И легкие обожжены войною.
Он отдышался и закурил...

Вот почему сторож турбазы
Играет по ночам в котельной,
А не в каком-нибудь скромном джазе
Где-нибудь в загородном ресторане.

Благодарите судьбу, поэты,
За то, что вам не нужно легких,
Чтоб дуть в мундштук гобоя и флейты,
Что вам не нужно беглости пальцев,
Чтоб не спотыкаться на фортепиано,
Что вам почти ничего не нужно, —
А все, что нужно,
Всегда при вас.

ГОНЧАР

Продавали на базаре яблоки, халву, урюк,
Полосаты, как халаты, запотели арбузы.
А разгневанное солнце било в медные тазы.
И впервые я услышал, что лучи имеют звук.

Как развенчанный владыка, гордо щурился верблюд
На сурового узбека из колхоза «Кзыл юлдуз».
Тот, не глядя на прохожих, молча вспарывал арбуз.
А вокруг горшков и блюд волновался разный люд.

Ах, какие это блюда — и блестят, как изразец,
И поют как колокольчик и звенят, как бубенец.
Их безоблачному небу взял аллах за образец.
Это маленькое небо за десятку продают.

А какие там узоры по глазури завиты!
Красноперые пичуги в синих зарослях поют,
И прохладные озера меж цветами налиты.
Эти малые озера за десятку продают.

Он, как глина, мудр и стар, этот каменный гончар.
Он берет ломоть арбуза — красноватый хрусткий
снег.

Он к прохожим безучастен, этот старый человек:
Пусть, мол, сам себя похвалит звонкий глиняный
товар.

Он недаром желтой глиной перепачкан по утрам,
Веселясь своим удачам и грустя от неудач.
А болтливость не пристала настоящим мастерам.
Суетливость не пристала настоящим мастерам.

НА ПОЛУСТАНКЕ

На полустанке пел калека,
Сопровождавший поезда:
«Судьба играет человеком,
Она изменчива всегда».

Он петь привык корысти ради —
За хлеба кус и за пятак.
А тут он пел с тоской во взгляде,
Не для людей, а просто так.

А степь вокруг была огромной,
А человек был сир и мал.
И тосковал бедняк бездомный,
И сам себя не понимал.

И, сам себя не понимая,
Грустил он о былых годах,
И пел он, как поет немая
Степь в телеграфных проводах.

ФОТОГРАФ-ЛЮБИТЕЛЬ

Фотографирует себя
С девицей, с другом и соседом,
С гармоникой, с велосипедом,
За ужином и за обедом,
Себя — за праздничным столом,
Себя — по окончании школы,
На фоне дома и стены,
Забора, бора и собора,
Себя — на фоне скакуна,
Царь-пушки, башни, колоннады,
На фоне Пушкина — себя,
На фоне грота и фонтана,
Ворот, гробницы Тамерлана,
В компании и одного —
Себя, себя. А для чего?

Он пишет, бедный человек,
Свою историю простую,
Без замысла, почти впустую
Он запечатлевает век.

А сам живет на фоне звезд,
На фоне снега и дождей,

На фоне слов, на фоне страхов,
На фоне снов, на фоне ахов!
Ах! — миг один,— и нет его.
Запечатлел, потом — истлел
Тот самый, что неприхотливо
Посредством линз и негатива
Познать бессмертье захотел.
А он ведь жил на фоне звезд.
И сам был маленькой вселенной,
Божественной и совершенной!
Одно беда — был слишком прост!
И стал он капелькой дождя...

Кто научил его томиться,
К бессмертью громкому стремиться,
В бессмертье скромное входя?

ОПРАВДАНИЕ ГАМЛЕТА

Врут про Гамлета,
Что он нерешителен.
Он решителен, груб и умен.
Но когда клинок занесен,
Гамлет медлит быть разрушителем
И глядит в перископ времен.

Не помедлив стреляют злодеи
В сердце Лермонтова или Пушкина.
Не помедлив бьет лейб-гвардеец,
Образцовый, шикарный воин.
Не помедлив бьют браконьеры,
Не жалея, что пуля пущена.

Гамлет медлит,
Глаза прищурив
И нацеливая клинок.

Гамлет медлит.
И этот миг
Удивителен и велик.
Миг молчания, страсти и опыта,
Водопада застывшего миг.

Миг всего, что отринуто, проклято.
И всего, что познал и постиг.

Ах, он знает, что там, за портьерой,
Ты, Полоний, плоский хитрец.
Гамлет медлит застывшей пантерой,
Ибо знает законы сердец,
Ибо знает причины и следствия,
Видит даль за ударом клинка,
Смерть Офелии, слабую месть ее,—
Все, что будет потом,
На века.

Бей же, Гамлет! Бей без промашки!
Не жалея загнивших кровей!
Быть — не быть — лепестки ромашки,
Бить так бить! Бей, не робей!
Не от злобы, не от угару,
Не со страху, унявши дрожь,—
Доверяй своему удару,
Даже
 если
 себя
 убьешь!

СВОБОДНЫЙ СТИХ

Профессор Уильям Росс Эшби
Считает мозг негибкой системой.
Профессор, наверное, прав.
Ведь если бы мозг был гибкой системой,
Конечно, он давно бы прогнулся,
Он бы прогнулся, как лист жести,—
От городского гула, от скоростей,
От крика динамиков, от новостей,
От телевидения, от похорон,
От артиллерии, от прений сторон,
От угроз, от ложных учений,
Детективных историй, разоблачений,
Прогресса наук, семейных дразг,
Отсутствия денег, актерских масок,
Понятия о бесконечности, успеха поэзии,
Законодательства, профессии,
Нового в медицине, неразделенной любви,
Несовершенства.
Но мозг не гибок. И оттого
Стоит, как телеграфный столб,
И только гудит под страшным напором.
И все-таки остается прямым.
Мне хочется верить профессору Эшби
И не хочется верить писателю Кафке.

**Пожалуйста, выберите время,
Выключите радио, отоспитесь
И почувствуйте в себе наличие мозга,
Этой мощной и негибкой системы.**



Химера самосохраненья!
О, разве можно сохранить
Невыветренными каменья
И незапутанною нить!

Но ежели по чьей-то воле
Убережешься ты один
От ярости и алкоголя,
Рождающих холестерин;

От совести, от никотина,
От каверзы и от ружья,—
Ведь все равно невозвратима
Незамутненность бытия.

Но есть возвышенная старость,
Что грозно вызревает в нас,
И всю накопленную ярость
Приберегает про запас,

Что ждет назначенного срока
И вдруг отбрасывает щит.
И тычет в нас перстом пророка
И хриплым голосом кричит.



Весь лес листвою переполнен.
Он весь кричит: тону! тону!
И мы уже почти не помним,
Каким он был семь дней тому.

Как забывается дурное!
А память о счастливом дне,
Как излученье роковое,
Накапливается во мне.

Накапливается, как стронций
В крови. И жжет меня дотла —
Лицо, улыбка, листья, солнце.
О горе! Я не помню зла!

ЧИТАЯ ФАНТАСТА

С. Л.

Что, если море — мыслящее существо,
А волны — это мысли моря,
И зыбкое зеленое стекло
Подвижная пронизывает воля?

Тогда мне страшен мудрый океан
И буйное его воображенье.
И что такое лютня, и кимвал,
И стон, и необузданное пенье?

Как страшно быть смятением земли,
Быть мозгом всеобъемлющим и диким,
Топить в себе мечты и корабли —
Быть океаном — Тихим и Великим!

* * *

Странно стариться,
Очень странно.
Недоступно то, что желанно.
Но зато бесплотное весома —
Мысль, любовь и дальний отзвук грома.
Тяжелы, как медные монеты,
Слезы, дождь. Не в тишине, а в звоне
Чьи-то судьбы сквозь меня продеты.
Тяжела ладонь на ладони.
Даже эта легкая ладошка
Ношей кажется мне непосильной.
Непосильной,
Даже для двужильной,
Суетной судьбы моей... Вот эта,
В синих детских жилках у запястья,
Легче крылышка, легче пряжи,
Эта легкая ладошка даже
Давит, давит, словно колокольня...
Раздавила руки, губы, сердце,
Маленькая, словно птичье тельце.

ЗРЕЛОСТЬ

Приобретают остроту,
Как набирают высоту,
Дичают, матереют,
И где-то возле сорока
Вдруг прорывается строка,
И мысль становится легка.
А слово не стареет.

И поздней славы шепоток
Немного льстит, слегка жесток,
И, словно птичий коготок,
Царапает, не раня.
Осенней солнечной строкой
Приходит зрелость и покой,
Рассудка не туманя.

И платят позднею ценой:
«Ах, у него и чуб ржаной!
Ах, он и сам совсем иной,
Чем мы предполагали!»
Спасибо тем, кто нам мешал!
И счастье тем, кто сам решал,—
Кому не помогали!



Музыка, закрученная туго
в иссиня-черные пластинки,—
так закручивают черные косы
в пучок мексиканки и кубинки,—
музыка, закрученная туго,
отливающая крылом вороньим,—
тупо-тупо подыгрывает туба
расхлябанным пунктирам контрабаса.
Это значит — можно все, что можно,
это значит — очень осторожно
расплетается жесткий и черный
конский волос, канифолью тертый.
Это значит — в визге канифоли
приближающаяся поневоле,
обнимаемая против воли,
понукаемая еле-еле
в папиросном дыме, в алкоголе
желтом, выпученном и прозрачном,
движется она, припав к плечу чужому,
отчужденно и ненапряженно,
осчастливленная высшим даром
и уже печальная навеки...
Музыка, закрученная туго,
отделяющая друг от друга.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ВПОЛГОЛОСА

Ну вот, сыночек, спать пора,
Вокруг деревья потемнели.
Черней вороньего пера
Ночное оперенье ели.
Закрой глаза. Вверху луна,
Как рог на свадьбе кахетинца.
Кричит, кричит ночная птица
До помрачения ума.

Усни скорее. Тополя
От ветра горько заскрипели.
Черней вороньего пера
Ночное оперенье ели.
Все засыпает. Из-под век
Взирают тусклые болотца.
Закуривает и смеется
Во тьме прохожий человек.

Березы, словно купола,
Видны в потемках еле-еле.
Черней вороньего пера
Ночное оперенье ели.

МОРЕ

Сначала только пальцем
Покатывало гальку
И плотно, словно панцирь,
Полнеба облегало.
Потом луна в барашках
Сверкала белым кварцем.
Потом пошло качаться.
И наконец взыграло.

Когда взыграло море,
Душа возликовала,
Душа возликовала
И неба захотела,
И захотела ветра,
И грома, и обвала.
А чем она владела —
Того ей было мало!..

НА ДУНАЕ

О, краткое очарованье
Плывущих мимо кораблей!
А после разочарованье
От бронзы бывших королей.

Сидят державные солдаты,
Как задремавшие орлы.
А корабли плывут куда-то,
Как освещенные балы.

Здесь варвары на земли Рима
Запечатлели свой набег.
Но все равно — плывущий мимо
Прекрасней ставшего на брег.

СИГЛИГЕТ

В той Венгрии, куда мое везенье
Меня так осторожно привело,
Чтоб я забыл на время угрызенья
И мною совершаемое зло,

В том Сиглигете возле Балатона,
В том парке, огороженном стеной,
Где горлинки воркуют монотонно,—
Мое смятенье спорит с тишиной.

Мне кажется, что вы — оживший образ
Той тишины, что вы ее родня.
Не потому ли каждая подробность,
Любое слово мучают меня.

И даже, может быть, разноязычье
Не угнетает в этой тишине,
Ведь не людская речь, а пенье птичье
Нужней сегодня было вам и мне.

СОЛОВЬИ ИЛЬДЕФОНСА-КОНСТАНТЫ

Ильдефонс-Константы Галчинский дирижирует

соловьями:

Пиано, пианиссимо, форте, аллегро, престо!

Время действия — ночь. Она же и место.

Сосны вплывают в небо романтическими кораблями.

Ильдефонс играет на скрипке, потом на гитаре,

И вновь на скрипке играет Ильдефонс-Константы

Галчинский.

Ночь соловьиною трель прокатывает в гортани.

В честь прекрасной Натальи соловьи поют по-грузински.

Начинается бог знает что: хиромантия, волхование!

Зачарованы люди, кони, звезды. Даже редактор,

Хлюпая носом, платок нашаривает в кармане,

Потому что еще никогда не встречался с подобным

фактом.

Константы их утешает: «Ну что распустили нюни!

Ничего не случилось. И вообще ничего не случится!

Просто бушуют в кустах соловьи в начале июня.

Послушайте, как поют! Послушайте: ах, как чисто!»

Ильдефонс забирает гитару, обнимает Наталью,
И уходит сквозь сиреневый куст, и про себя судачит:
«Это все соловьи. Вишь, какие каналы!
Плачут, черт побери. Хотят — не хотят, а плачут!..»

ВЕТРЕННЫЙ ВЕЧЕР

Взлетает пернатая птица,
И ветер пернатый щебечет,
Пернатое дерево мчится
И перья горючие мечет.

И вечер снимается с места
И наискось мчит к небосклону.
Как огненный кочет с насеста,
Слетают багряные клены.

Слетают багровые тучи,
Взлетают лиловые дымы.
Предметы легки и летучи,
Свистящи и неудержимы...

ВЕСЕННИЙ ГРОМ

За горой открывается Павшино,
А оттуда — по левой руке —
Стоэтажно, победно и башенно
Встало облако невдалеке.

Так высоко оно и расправлено
И такая в нем гордая статья,
Что роскошную оду Державина
Начинаешь невольно читать.

И на облачном светлом нагории
Поднимаются, полные сил,
Алексеи, Платоны, Григории
В белизне полотна и лосин,

Чтоб с громами зелеными, юными
Сдвинуть чары курчавых пиров
И злещеными грянуть перунами
По листве красногорских дубров.

★ ★ ★

Был ливень. И вызвездил крону.
А по иссякании вод,
Подобно огромному клену,
Вверху замерцал небосвод.

Вкруг дерева ночи чернейшей
Легла золотая стезя...
И — молнии в мокрой черешне:
Глаза...

ТАЛЛИНСКАЯ ПЕСЕНКА

Хорошо уехать в Таллин,
Что уже снежком завален
И уже зимой застелен,
И увидеть Элен с Яном,
Да, увидеть Яна с Элен.

Мне ведь многого не надо,
Мой приезд почти бесцелен:
Побродить по ресторанам,
Постоять под снегопадом
И увидеть Яна с Элен.
Да, увидеть Элен с Яном.

И прислушаться к метелям,
Что шуруют о фрамугу,
И увидеть: Ян и Элен,
Да, увидеть — Ян и Элен
Улыбаются друг другу.

А однажды утром рано
Вновь отъехать от перрона
Прямо в сторону бурана,
Где уже не будет Элен,
Где уже не будет Яна.
Да, ни Элен и ни Яна...

МАРИИ

М. К.

Прекрасно рисует Мария,
Особенно белку и лиса,
Особенно птицу и рыбу,
Особенно листья и лица.

Хотел бы и я поселиться
В том маленьком мире Марии,
Где славные звери такие,
Такие хорошие листья,
Такие хорошие лица!

ПРЕДМЕСТЬЕ

Там наконец, как пуля из ствола,
Поезд метро вылетает из-под земли.
И вся округа наклонна.

Там дивная церковь,
Оранжевая с белым,
Слегка накренясь, как в танце на льду,
Медленно откатывается вбок.

Там, в поредевших рощах,
Белые дома —
Макеты рационального воображения.
Но земля не занята городом.

Там воздух листвен.
Там иволга садится на балкон.

Там балконные двери —
Летки человеческого пчельника.
Вечером светятся окна
Пузырьками искусственных сотов.

Там ветер намывает флаг,
И свежее полотнище, пахнущее арбузом,
Хлобыщет небо.

СОВЕТЧИКИ

Приходили ко мне советчики
И советовали, как мне быть.
Но не звал я к себе советчиков
И не спрашивал, как мне быть.

Тот советовал мне уехать,
Тот советовал мне остаться,
Тот советовал мне влюбиться,
Тот советовал мне расстаться.

А глаза у них были круглые,
Совершенно как у лещей.
И шатались они по комнатам,
Перетрогали сто вещей:

Лезли в стол, открывали ящики,
В кухне лопали со сковород.
Ах уж эти мне душеприказчики,
Что за странный они народ!

Лупоглазые, словно лещики,
Собирались они гурьбой
И советовали мне советчики
И советовались между собой.

**Ах вы лещики, мои рыбочки,
Вы пескарики-головли!
Ах спасибо вам, ах спасибочки,
Вы мне здорово помогли!**

КОНЕЦ ПУГАЧЕВА

Вьются тучи, как знамена,
Небо — цвета кумача.
Мчится конная колонна
Бить Емельку Пугача.

А Емелька, царь Емелька,
Страхолюдина-бандит,
Бородатый, пьяный в стельку,
В чистой горнице сидит.

Говорит: «У всех достану
Требушину из пупа.
Одного губить не стану
Православного попа.

Ну-ка, батя, сядь-ка в хате,
Кружку браги раздави.
И мои степные рати
В правый бой благослови!..»

Поп ему: «Послушай, сыне!
По степям копытный звон.
Слушай, сыне, ты отныне
На погибель обречен...»

Как поднялся царь Емеля:
«Гей вы, бражники-друзья!
Или силой оскудели,
Мои князи и графья?»

Как он гаркнул: «Где вы, князи!»,
Как ударил кулаком,
Конь всхрапнул у коновязи
Под ковровым чепраком.

Как прощался он с Устиньей,
Как коснулся алых губ,
Разорвал он ворот синий
И заплакал, душегуб.

«Ты зови меня Емелькой,
Не зови меня Петром.
Был мужик я, птахой мелкой,
Возмечтал парить орлом.

Предадут меня сегодня,
Слава богу — предадут.
Быть (на это власть господня!)
Государем не дадут...»

Как его бояре встали
От тесового стола.
«Ну, вяжи его, — сказали, —
Снова наша не взяла».

ДВОРИК МИЦКЕВИЧА

Здесь жил Мицкевич. Как молитва,
Звучит пленительное: Litwo,
Ojczyzno moja. Словно море
Накатывается: O, Litwo,
Ojczyzno moja.
Квадратный дворик. Монолитно,
Как шаг в забое,
Звучит звенящее: O, Litwo,
Ojczyzno moja!
И как любовь, как укоризна,
Как признак боли,
Звучит печальное: Ojczyzno,
Ojczyzno moja.
Мицкевич из того окошка
Глядел на дворик,
Поэт, он выглядел роскошно,
Но взгляд был горек.
Он слышал зарожденье ритма.
Еще глухое,
Еще далекое: O, Litwo,
Ojczyzno moja!

ПЕСТЕЛЬ, ПОЭТ И АННА

Там Анна пела с самого утра
И что-то шила или вышивала.
И песня, долетая со двора,
Ему невольно сердце волновала.

А Пестель думал: «Ах, как он рассеян!
Как на иголках! Мог бы хоть присесть!
Но, впрочем, что-то есть в нем, что-то есть.
И молод. И не станет фарисеем».
Он думал: «И конечно, расцветет
Его талант, при должном направленьи,
Когда себе Россия обретет
Свободу и достойное правленьи».
— Позвольте мне чубук, я закурю.
— Пожалуйте огня.
— Благодарю.

А Пушкин думал: «Он весьма умен
И крепок духом. Видно, метит в Бруты.
Но времена для брутов слишком круты.
И не из брутов ли Наполеон?»

Шел разговор о равенстве сословий.
— Как всех равнять? Народы так бедны,—

Заметил Пушкин,— что и в наши дни
Для равенства достойных нет условий.
И потому дворянства́ назначенье —
Хранить народа честь и просвещенье.
— О, да,— ответил Пестель,— если трон
Находится в стране в руках деспота,
Тогда дворянства первая забота
Сменить основы власти и закон.
— Увы,— ответил Пушкин,— тех основ
Не пожалеет разве Пугачев...
— Мужичкий бунт бессмыслен...—

За окном

Не умолкая распевала Анна.
И пахнул двор соседа-молдавана
Бараньей шкурой, хлевом и вином.
День наполнялся нежной синевой,
Как ведра из бездонного колодца.
И голос был высок: вот-вот сорвется.
А Пушкин думал: «Анна! Боже мой!»

— Но, не борясь, мы потакаем злу,—
Заметил Пестель,— бережем тиранство.
— Ах, русское тиранство-дилетантство,
Я бы учил тиранов ремеслу,—
Ответил Пушкин.

«Что за резвый ум,—
Подумал Пестель,— столько наблюдений
И мало основательных идей».
— Но тупость рабства сокрушает гений!
— На гения отыщется злодей,—

Ответил Пушкин.

Впрочем, разговор
Был славный. Говорили о Ликурге,
И о Солоне, и о Петербурге,
И что Россия рвется на простор.
Об Азии, Кавказе, и о Данте,
И о движенье князя Ипсиланти.

Заговорили о любви.

— Она,—

Заметил Пушкин,— с вашей точки зренья
Полезна лишь для граждан умноженья
И, значит, тоже в рамки введена.—
Тут Пестель улыбнулся.

— Я душой

Матерьялист, но протестует разум.—
С улыбкой он казался светлоглазым.
И Пушкин вдруг подумал: «В этом соль!»

Они простились. Пестель уходил
По улице разъезженной и грязной,
И Александр, разнеженный и праздный,
Рассеянно в окно за ним следил.
Шел русский Брут. Глядел вослед ему
Российский гений с грустью без причины.

Деревья, как зеленые кувшины,
Хранили утра хлад и синеву.
Он эту фразу записал в дневник —
О разуме и сердце. Лоб наморщив,

Сказал себе: «Он тоже заговорщик.
И некуда податься, кроме них».

В соседний двор вползла каруца цугом,
Залаял пес. На воздухе упругом
Качались ветки, полные листвою.
Стоял апрель. И жизнь была желанна.
Он вновь услышал — распевает Анна.
И задохнулся:
«Анна! Боже мой!»

СВЯТОГОРСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Вот сюда везли жандармы
Тело Пушкина (о милость
Государя!). Чтоб скорей,
Чтоб скорей соединилось
Тело Пушкина с душой
И навек угомонилось.

Здесь, совсем недалеко
От Михайловского сада,
Мертвым быть ему легко,
Ибо жить нигде не надо.
Слава богу, что конец
Императорской приязни
И что можно без боязни
Ждать иных, грядущих дней.
Здесь, совсем недалеко
От Михайловского дома,
Знать, что время невесомо,
А земля всего родней,—
Здесь, совсем невдалеке
От заснеженной поляны,
От Тригорского и Анны,
От мгновенья Анны Керн;
Здесь — на шаг от злой судьбы,

От легенд о счастье мнимом,
И от кухни, полной дымом,
И от девичьей избы.

Ах, он мыслил об ином,
И тесна казалась клетка...
Смерть! Одна ты домоседка
Со своим веретеном!

Вот сюда везли жандармы
Тело Пушкина... Ну что ж!
Пусть нам служит утешеньем
После выплывшая ложь,
Что его пленяла ширь,
Что изгнанье не томило...
Здесь опала. Здесь могила.
Святогорский монастырь.

БЛОК. 1917

В тумане старые дворцы
Хирели,
Красногвардейские костры
Горели.
Он вновь увидел на мосту
И ангела, и высоту.
Он вновь услышал чистоту
Свирели.

Не музыка военных флейт,
Не звездный отблеск эполет,
Не павший ангел, в кабарет
Влетевший — сбросить перья...
Он видел ангела, звезду,
Он слышал флейту, и на льду
Невы он видел полынью
Рождественской купелью.

Да, странным было для него
То ледяное рождество,
Когда солдатские костры
Всю ночь во тьме не гасли.
Он не хотел ни слов, ни встреч,
Немела речь,

Не грела печь,
Студеный ветер продувал
Евангельские ясли.

Волхвы, забившись в закутки,
Сидели, кутаясь в платки,—
Пережидали хаос.
И взглядывали из-за штор,
Как полыхал ночной костер,
Как пламя колыхалось.

«Волхвы! Я понимаю вас,
Как трудно в этот грозный час
Хранить свои богатства,
Когда веселый бунтовщик
К вам в двери всовывает штык
Во имя власти и земли,
Республики и братства.

Дары искусства и наук,
Сибирских руд, сердечных мук,
Ума и совести недуг —
Вы этим всем владели.
Но это все не навсегда.
Есть только ангел и звезда,
Пустые ясли и напев
Той, ледяной свирели».

Да, странным было для него
То ледяное рождество
Семнадцатого года.

Он шел и что-то вспоминал,
А ветер на мосту стонал,
И ангел в небе распевал:
«Да здравствует свобода!»

На мосте грелись мужики,
Веселые бунтовщики.
Их тени были велики.
И уходили патрули
Вершить большое дело.
Звезда сияла. И во мгле
Вдали тревогу пел сигнал.
А рядом «Интернационал»
Свирель тревожно пела.

Шагал патруль. Вот так же шли
В ту ночь седые пастухи
За ангелом и за звездой,
Твердя чужое имя.
Да, странным было для него
То ледяное рождество,
Когда солому ветер греб
Над яслями пустыми.

Полз броневик. Потом солдат
Угрюмо спрашивал мандат.
Куда-то прошагал отряд.
В котле еда дымилась.
На город с юга шла метель.
Замолкли ангел и свирель.
Снег запорошивал купель.
Потом звезда затмилась.

СМЕРТЬ ПОЭТА

Я не знал в этот вечер в деревне,
Что не стало Анны Андревны,
Но меня одолела тоска.
Деревянные дудки скворещен
Распевали. И месяц навешен
Был на голые ветки леска.

Провода электрички чертили
В небесах невесомые кубы.
А ее уже славой почтили
Не парадные залы и клубы,
А лесов деревянные трубы,
Деревянные дудки скворещен.
Потому я и был безутешен,
Хоть в тот вечер не думал о ней.

Это было предчувствием боли,
Как бывает у птиц и зверей.

Просыревшей тропинкою в поле,
Меж сугробами, в странном уборе
Шла старуха всех смертных старей.
Шла старуха в каком-то капоте,
Что свисал, как два ветхих крыла.

Я спросил ее: «Как вы живете?»
А она мне: «Уже отжила...»

В этот вечер ветрами отпето
Было дивное дело поэта.
И мне чудилось пенье и звон.
В этот вечер мне чудилась в лесе
Красота похоронных процессий
И торжественный шум похорон.

С Шереметьевского аэродрома
Доносилось подобие грома.
Рядом пели деревья земли:
«Мы ее берегли от удачи,
От успеха, богатства и славы,
Мы, земные деревья и травы,
От всего мы ее берегли».

И не ведал я, было ли это
Отпеванием времени года,
Воспеваньем страны и народа
Или просто кончиной поэта.
Ведь еще не успели стихи,
Те, которыми нас одаряли,
Стать гневливой волною в Дарьяле
Или ветром в молдавской степи.

Стать туманом, птицей, звездой,
Иль в степи полосатой верстою
Суждено не любому из нас.

Стихотворства тяжелое бремя
Прославляет стоустое время.
Но за это почтут не сейчас.

Ведь она за свое воплощенье
В снегиря царскосельского сада
Десять раз заплатила сполна.
Ведь за это пройти было надо
Все ступени рая и ада,
Чтоб себя превратить в певуна.

Все на свете рождается в муке —
И деревья, и птицы, и звуки.
И Кавказ. И Урал. И Сибирь.
И поэта смежаются веки.
И еще не очнулся на ветке
Зоревой царскосельский снегирь.

★ ★ ★

А. А.

Я вышел ночью на Ордынку.
Играла скрипка под сурдинку.
Откуда скрипка в этот час —
Далеко за полночь, далеко
От запада и от востока —
Откуда музыка у нас?



Листвой наполнены деревья,
Деревьями наполнен сад,
А где-то в высшем измеренье
Садами полнится закат.

Но так бывает слишком редко
И если сильно повезет,
Чтоб смыслы высшего порядка
Загромождали горизонт.

А чаще нерадивый кравчий
Не льет нам чашу доплна...
И тщетно бьется лист, приставший
К стеклу туманного окна.

УТРО

Старых пней медвежьи барабаны,
И дубов шатры, и балаганы,
И трава со слюнками росы,
И железное перо вороны —
Открывают мне свои законы,
Доверяют мне свои азы.

Наконец-то я постиг науку
И внимаю смыслу, а не звуку,
Ветру, а не шелесту травы.
Что мне этот шорох, что мне лепет,
Что мне шепот будничной молвы!

• • •

Проснись однажды утром,
Обидам крикни: «Брысь!»
Гляди, как лес разубран,
И так же приберись.

Гляди, как свежи срубы,
И новый частокол
Начищен, словно зубы
Прохладным порошком.

Гляди — белей пороша
Бумажного листа.
И может быть, под прошлым
Подведена черта.

И можно без заминки
Приняться за труды —
Протаптывать тропинки,
Прокладывать следы.

Два первых трудных шага,
А там — гуляй пешком...
Чтоб пахнула бумага
Прохладным порошком.

ЗИМА НАСТАЛА

В первую неделю
Остекленели
Глаза воды.
Во вторую неделю
Закоченели
Плечи земли.
В третью неделю
Загудели
Метели
Зимы.

В первую неделю
Я духом пал.
Во вторую неделю
Я чуда ждал.
А в третью неделю,
Как снег упал,
Хорошо мне стало.
Зима настала.

С ЭСТРАДЫ

Вот я перед вами стою. Я один.
Вы ждете какого-то слова и знания,
А может — забавы. Мол, мы поглядим,
Здесь львиная мощь или прыть обезьянья.

А я перед вами гол как сокол.
И нет у меня ни ключа, ни отмычки.
И нету рецепта от бед и от зол.
Стою перед вами, как в анатомичке.

Учитесь на мне. Изучайте на мне
Свои неудачи, удачи, тревоги.
Ведь мы же не клоуны,
но мы и не боги.
И редко случается быть на коне!

Вот я перед вами стою. Я один.
Не жду одобрения или награды.
Стою у опасного края эстрады,
У края, который непереходим.



Я рано встал. Не подумав,
Пошел, куда повели,
Не слушая вещей шумов
И гулов своей земли.

Я был веселый и странный,
Кипящий и ледяной,
Готовый и к чести бранной,
И к слабой славе земной.

Не ведающий лукавства,
Доверчивый ко словам,
Плутал я — не заплутался,
Ломал себя — не сломал.

Тогда началась работа
Характера и ума,
Восторг, и пот, и ломота,
Бессонница, и луна.

И мѹка простого помола
Под тяжким, как жернов, пером,
И возле длинного мола —
Волны зеленой излом...

И солоно все, и круто,
И грубо стало во мне.
И даже счастья минута.
И ночь. И звезды в окне.

СОДЕРЖАНИЕ

«Давай поедem в город...»	5
Перед снегом	7
«Как объяснить тебе, что это, может статься...»	8
«Вода моя! Где тайники твои...»	9
Память	10
Фейерверк	11
Красота	13
«Расставанье...»	14
«И всех, кого любил...»	15
Названья зим	16
«Получил письмо издалека...»	17
Рябина	18
«Была туманная луна...»	19
Апрельский лес	20
«Стройность чувств. Их свободные речи...» .	21
«Дай выстрадать стихотворенье!..»	22
В деревне	23
Голоса	24
«Вдруг обоймут большие шумы леса...» . . .	26
Выезд	28
Двор моего детства	30
Пустырь	31
Ночной сторож	33
Гончар	35
На полустанке	37
Фотограф-любитель	38
Оправдание Гамлета	40
Свободный стих	42
«Химера самосохраненья!..»	44
«Весь лес листвою переполнен...»	45
Читая фантаста	46
«Странно стариться...»	47
Зрелость	48
«Музыка, закрученная туго...»	49
Колыбельная вполголоса	50
Море	51

На Дунае	52
Сиглигет	53
Соловьи Ильдефонса-Константы	54
Ветренный вечер	56
Весенний гром	57
«Был ливень. И вызвездил крону...»	58
Таллинская песенка	59
Марии	60
Предместье	61
Советчики	62
Конец Пугачева	64
Дворик Мицкевича	66
Пестель, Поэт и Анна	67
Святогорский монастырь	71
Блок. 1917	73
Смерть поэта	76
«Я вышел ночью на Ордынку...»	79
«Листвой наполнены деревья...»	80
Утро	81
«Проснись однажды утром...»	82
Зима настала	83
С эстрады	84
«Я рано встал. Не подумав...»	85

Самойлов Давид Самойлович

ДНИ

М., «Советский писатель», 1970, стр. 88. План вып. 1970 г. № 150. Редактор В. С. Фогельсон. Худож. редактор В. В. Медведев. Техн. редактор Ф. Г. Шапиро. Корректор Л. А. Матасова. Сдано в набор 6/II 1970 г. Подписано к печати 4/V 1970 г. А 01051. Бумага 70x108¹/₃₂ № 1. Печ. л. 2³/₄ (3,85). Уч.-изд. л. 2,15. Тираж 10 000 экз. Цена 25 коп. Заказ № 143. Издательство «Советский писатель». Москва К-9, Б. Гнездииковский пер., 10. Тульская типография Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР, г. Тула, проспект им. В. И. Ленина, 109

25 коп.



